

Англия, конец 1990-х

Глава 1

Меня зовут Кэти Ш. Мне тридцать один, и я вот уже одиннадцать с лишним лет как помогаю донорам. Долго, конечно, но мне было сказано, чтобы я проработала еще восемь месяцев — до конца года. Получится почти двенадцать лет. Теперь я понимаю, что меня, может быть, совсем не потому держат столько времени, что считают мои успехи фантастическими. Бывали отличные помощники, которым приходилось поставить точку всего через два-три года. С другой стороны, я знала одного, у которого это длилось полных четырнадцать лет, хотя он был настоящее пустое место. Так что я не ради хвастовства говорю. Но все-таки я точно знаю, что они довольны моей работой, и я сама в целом тоже довольна. Состояние моих доноров чаще всего бывало гораздо лучше ожидаемого. Реабилитация шла быстро, и почти никому не писали «возбужден» — даже перед четвертой выемкой. Согласна, сейчас уже, наверно, хвастаюсь. Но это очень много для меня значит — ощущение, что я хорошо делаю свое дело, особенно ту его часть, что должна помочь донору оставаться в категории «спокой-

ных». У меня развилось какое-то внутреннее чутье по отношению к ним. Я знаю, когда надо подбодрить, побыть рядом, когда лучше оставить одного; когда терпеливо выслушать, что он говорит, когда просто отмахнуться и сказать, чтобы переменял пластинку.

Так или иначе, я не считаю себя чем-то особенным. Я знаю помощников, они и сейчас работают, которые выполняют свои обязанности не хуже меня, но далеко не так ценятся. Можно понять, если кто-нибудь из них и завидует — моей однокомнатной квартире, моей машине, но в первую очередь тому, что мне позволяют самой решать, о ком я буду заботиться. Ко всему, я еще и воспитанница Хейлшема — одного этого иногда хватает, чтобы на меня посмотрели косо. Эта Кэти Ш., говорят они, может выбирать кого захочет и выбирает только своих — воспитанников Хейлшема или какого-нибудь другого привилегированного заведения. Само собой, она на хорошем счету. Я наслушалась такого достаточно, а вы наверняка еще куда больше, и, может быть, своя правда тут имеется. С другой стороны, я не первая, у кого есть право выбора, и, думаю, не последняя. Как бы то ни было, разве я не отработала свое с донорами из всевозможных других мест? Не забывают, что к тому времени, как я кончу, за плечами у меня будет двенадцать лет, и только последние шесть из них мне разрешают помогать кому сама захочу.

И правильно делают, по-моему. Помощники ведь не автоматы. С каждым донором стараешься изо всех сил, и под конец это может вымотать. Запас терпения

и энергии истощается. Поэтому когда есть выбор, разумеется, выбираешь своих — это естественно. Разве я продержалась бы так долго без общности с донорами, без сочувствия к ним от начала до конца? И, безусловно, не могла бы выбирать — не сблизилась бы снова, спустя годы, с Томми и Рут.

Но чем дальше, тем, конечно, меньше и меньше остается доноров, которых я знаю по прошлым годам, так что на практике я пользуюсь своим правом не слишком уж часто. Как я уже сказала, дело идет куда тяжелее, когда с донором нет хорошей внутренней связи, поэтому, хотя мне будет не хватать обязанностей помощницы, поставить точку в конце года будет, пожалуй, в самый раз.

Рут, между прочим, была только третьим или четвертым донором, которого мне разрешили выбрать. К ней уже была до этого приставлена помощница, и мне, помню, пришлось добиваться, чтобы Рут передала мне. Но в конце концов я это устроила, и едва я ее вновь увидела — в центре реабилитации в Дувре, — все, что нас разделяло, не то чтобы исчезло, но стало куда менее важным, чем другое — например, то, что мы вместе выросли в Хейлшеме, то, что мы знали и помнили такое, чего не знал и не помнил больше никто. Думаю, именно с тех пор я, чтобы выбрать донора и стать его помощницей, начала искать людей из моего прошлого, и прежде всего из Хейлшема.

Бывало за эти годы и так, что я пыталась оставить Хейлшем позади, говорила себе, что не надо все время оглядываться. Но потом всякий раз наступал момент, когда я переставала сопротивляться. К этому

имеет отношение один донор, который был у меня на третьем году работы в качестве помощницы. Точнее, его реакция, когда он узнал от меня, что я из Хейлшема. Он только что перенес третью выемку — перенес тяжело и, должно быть, знал, что не вытянет. Он едва дышал, но посмотрел на меня и сказал: «Хейлшем. Там, наверно, было замечательно». На следующее утро, когда я разговаривала с ним, чтобы его отвлечь, и спросила, где вырос он сам, он назвал какое-то место в Дорсете, и его лицо, покрытое пятнами, сложилось в какую-то совсем новую гримасу. Я поняла, как ему не хочется таких напоминаний. Вместо этого он хотел слышать о Хейлшеме.

Так что я дней пять или шесть рассказывала ему все, о чем ему хотелось узнать, и у него на лице, хоть он и лежал весь скрюченный, проступала кроткая улыбка. Он расспрашивал обо всем — о большом и малом. Об опекунах, о личных сундучках для коллекций у каждого из нас под кроватью, о футболе, о раундерз*, о тропинке, которая шла в обход главного корпуса и всех укромных мест, о пруде для домашних уток, о питании, о виде на поля туманным утром из окон комнаты творчества. Иногда он заставлял меня повторять снова и снова: об услышанном вчера спрашивал так, словно я ни разу еще про это не рассказывала. «А павильон** у вас был?.. А кто был

* Раундерз — британская игра в мяч, напоминающая бейсбол и лапту. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

** Павильон — здесь: небольшое строение у спортплощадки, крикетного или футбольного поля, которое служит, в частности, раздевалкой.

твой любимый опекун?» Вначале я объясняла это медикаментами, но потом поняла, что голова у него достаточно ясная. Он хотел не просто слушать про Хейлшем, но *вспоминать* его, точно свое собственное детство. Он знал, что близок к завершению, вот и требовал от меня, чтобы я все ему описывала, — хотел днем усвоить как следует, чтобы бессонной ночью среди всех этих изнурительных мук, когда обезболивающие не помогают, у него стиралась граница между моими и его воспоминаниями. Тогда-то я и поняла, по-настоящему поняла, как нам повезло — Томми, Рут, мне и всем остальным, кто с нами был.

То, что я встречаю на пути в своих разъездах, и теперь иногда напоминает мне Хейлшем. Скажем, поле, над которым стоит туман. Или, съезжая с холма, вижу вдалеке угол большого здания. Или даже просто взгляд падает на тополиную рощицу на взгорье — и думаю: «Неужели здесь? Нашла! Ведь правда же — Хейлшем!» Потом соображаю — нет, ошибка, невозможно — и еду дальше, мысли переходят на другое. Павильоны — вот что чаще всего привлекает внимание, я повсюду их замечаю. У дальней стороны спортивного поля — маленькое белое типовое строение, окошки в ряд необычно высоко, почти под самой крышей. Я думаю, таких очень много настроили в пятидесятые и шестидесятые — тогда же, вероятно, появился и наш. Когда попадаете такой павильон, я смотрю на него и смотрю, пока можно, и однажды, наверно, дело кончится автокатастрофой — но все равно смотрю. Недавно дорога шла по пустой мест-

ности в Вустершире, и у крикетного поля стоял павильон, который был так похож на наш, что я развернулась и проехала немного назад, чтобы посмотреть еще раз.

Мы любили наш павильон — может быть, потому, что он напоминал нам милые маленькие семейные коттеджи на картинках в детских книжках. Помню, в младших классах мы упрашивали опекунов провести очередной урок не там, где обычно, а в павильоне. А ко второму старшему — нам тогда было двенадцать, шел тринадцатый — павильон стал местом, где можно было уединиться с лучшими друзьями, когда хотелось побыть подальше от остальных.

В павильоне спокойно помещались две компании и не мешали друг другу, а летом на веранде могла расположиться и третья. Но в идеале тебе с друзьями или подружками хотелось занять весь павильон, и часто из-за этого начинались разные маневры и споры. Опекуны то и дело напоминали нам, что решать эти вопросы надо цивилизованно, но на практике, чтобы твоя компания получила павильон на перемену или на свободное время, в ее составе должны были быть сильные личности. Я сама была не робкого десятка, но думаю, что мы так часто занимали павильон благодаря Рут.

Обычно мы рассаживались на стульях и скамейках — нас было пятеро, а если подключалась Дженни Б., то шестеро — и давали волю языкам. Такие разговоры только там, в уединении, и могли происходить: мы делились всякими волнениями и заботами, душевная беседа вполне могла кончиться взрывом

хохота или яростной перепалкой. Прежде всего это был способ немного расслабиться, выпустить пар в дружеском обществе.

В тот день, который я сейчас вспоминаю, мы стояли на табуретках и скамейках и глядели в окошки под потолком. Оттуда хорошо было видно северное игровое поле, где собралось для игры в футбол десять-двенадцать мальчишек из второго старшего, как мы, и из третьего. Светило яркое солнце, но утром, наверно, прошел дождь: я помню, как на траве блестела грязь.

Кто-то из нас заметил, что не стоило бы таращиться так явно, но ни одна голова от окон не отодвинулась. Потом Рут сказала: «Он ничего не подозревает. Надо же — совсем ничего».

Услышав это, я бросила на нее взгляд — хотела увидеть, нет ли на ее лице следа неодобрения по поводу того, как ребята собираются поступить с Томми. Но секунду спустя Рут усмехнулась и сказала: «Идиот!»

И я поняла, что в глазах Рут и всей нашей компании замыслы мальчишек были чем-то довольно далеким от нас, одобрять или нет — такого вопроса не возникало. Мы не потому собрались у окон, что хотели порадоваться новому унижению Томми, а просто потому, что слышали про сегодняшнюю затею и нам было немного любопытно, что из всего этого выйдет. Не думаю, что в то время мальчишеские дела занимали нас сильнее. Для Рут и девочек это были вещи, в общем, чужие, и для меня, скорее всего, тоже.

Или, может быть, я ошибаюсь. Может быть, уже тогда при виде Томми, который носился по полю, давая волю радости из-за того, что его опять берут в игру, что он опять покажет свой высокий класс, я почувствовала легкий укол боли. Точно помню, я заметила, что на Томми голубая тенниска, которую он приобрел в прошлом месяце на Распродаже и которой очень гордился. Помню, подумала: «Он и правда дурак, что пошел в ней играть. Бедная тенниска. И каково ему потом будет?» Вслух я сказала, не обращая ни к кому конкретно: «На Томми та самая тенниска. Его любимая».

Никто меня, похоже, не услышал: все смеялись, глядя на Лору, главную нашу клоунессу, которая знай себе изображала, как меняется лицо Томми, когда он бежит, машет, кричит, ведет мяч. Другие ребята кружили по полю в разминочном темпе, все их движения были нарочито расслабленными, а вот Томми выиграл не на шутку и носился во весь дух. Я сказала — теперь погромче: «Горе у него будет, если тенниска придет в негодность». На этот раз Рут услышала, но, кажется, решила, что и мне захотелось над ним поиздеваться: она вяло усмехнулась и произнесла на его счет что-то свое, ядовитое.

Потом мальчишки перестали катать друг другу мяч и, спокойно, мерно дыша, встали кучкой на грязной траве — ждали разбора игроков по командам. Капитаны вышли вперед — оба из третьего старшего, хотя всем было известно, что Томми играет лучше любого из них. Кинули монетку, кто будет выбирать первым, и капитан, которому повезло, поднял глаза на ребят.